

## Курдюмов М.

### В театре Чехова

Источник: Заря. Харбин, 1938. 23 января. № 19. С. 2.

17 января (ст. ст.) 1904 г. Москва справляла праздник Чехова. А. П. не только не любил, но мучительно избегал всяких чествований. Самое слово юбилей звучало для него лично как угроза. Не раз он говорил об ужасном самочувствии писателя, юбиляра, которому поднесут бронзовую чернильницу и заставят ее держать в руках, пока поздравители будут читать приветствия «нашему дорогому, глубокоуважаемому...»

И Чехов всячески скрывал дату своего юбилея. В день его именин и рождения московский Художественный театр назначил первое представление «Вишневого сада».

Чехов доживал тогда последние месяцы жизни. В ту зиму он оставался в Москве, радовался этому очень, но, несмотря на бодрое настроение, физически был слаб: в подточенном туберкулезом организме догорали остатки сил. Впрочем, никто никогда не думал, что через полгода Москва, по-летнему опустелая, встретит привезенный из Германии гроб с телом писателя...

Премьеры Художественного театра всегда бывали большим событием в жизни Москвы. Задолго до новой постановки уже начинались в публике разговоры, предположения, обсуждения. По мере приближения к генеральной репетиции волнение росло. От старых барских особняков на Поварской и на Арбате с многочисленными их переулками до университетских аудиторий и коридоров точно электрический ток проходил: «Будете в Художественном? Достали билет?».

Театр был небольшой по размерам. Намеренно небольшой, чтобы артистам не приходилось форсировать голоса, чтобы зрители интимнее чувствовали сцену. Абонементов в то время у художественников еще не было введено, и Москву буквально охватывала билетная лихорадка. Можно без преувеличения сказать, что в некоторых случаях получение билета по протекции кого-нибудь из артистов ожидали с не меньшим волнением, чем ожидают теперь в Париже «счастья» при розыгрыше национальной лотереи.

Художественный театр с самого своего возникновения стоял особняком от других театров. Он был «особенный», и публика была «особенная» или, во всяком случае, казалась таковой. Между прочим, было «не принято» в Москве, чтобы в этот театр зрители являлись в торжественных вечерних туалетах: требовалось одеваться «серьезно», потому что театр Станиславского и Немировича не рассматривался как забава или развлечение, а как место некоего священнодействия. Дамы бывали в закрытых платьях, по преимуществу в темных. Московская роскошь не бросалась в глаза в Камергерском переулке, да она была бы там, действительно, не к лицу.

Ни бронзы, ни позолоты, ни хрустальных люстр, ни бархатных кресел, ни сверкающих зеркалами фойе. За дверями того подъезда, где висели узкие серые афиши, где, едва заметный в мерцании фонарей, поднимал над входом серую голову из тяжелых серых волн «Пловец» (скульптура Голубкиной), все резко отличалось от обычных театров. Темный дуб, старые драпировки, серые «ковры», везде заглушающие шаги, матовые продолговатые фонари с неярким светом не располагали к громким восклицаниям, шумно-оживленным разговорам.

В зрительном зале единственного тогда театра не было оркестра, не звучала музыка ни перед спектаклем, ни в антрактах. Глаз, привыкший к расписным занавесам, к углублению у рампы, где перед началом программы обычно в драме, как и в опере, размещались музыканты, с удивлением охватывал строгие и прямые линии партера, немногих лож у самой сцены и останавливался на глубоких складках раздвижного (тогда тоже новшество) серо-зеленого занавеса, на котором с двух сторон выделялись квадраты со стилизованной чайкой.

Сверху, через высокий, построенный клетчатым переплетом, барьер последнего балкона задолго до начала спектакля склонялись головы: студенты, вообще учащаяся молодежь, которым посчастливилось сюда попасть, старались устроиться так, чтобы можно было лучше видеть сцену. Разговоры вполголоса, заглушенные шепоты публики, взволнованной атмосферой театра смолкали совершенно, лишь только начинали медленно тускнеть, а потом еще медленнее гаснуть в зале квадратные фонари. Напряжение доходило до последнего предела. Оно ощущалось во всей толпе, передавалось в ней от человека к человеку, слышались в переводимом с трудом дыхании. Когда последние красные точки, похожие на потухающие угли, исчезали в матовых стеклах, зал погружался в полный мрак. Это бывала самая невыносимая минута. Казалось, что она никогда не пройдет. Потом в беспросветной черноте вдруг становился постепенно различим занавес. Еще секунда... Он чуть вздрагивал, складками морщились квадраты с чайкой и начинали медленно отделяться один от другого. Ползла, точно живое существо, серо-зеленая ткань и открывала сцену.

Коренные москвичи, вообще все те, кто знал Художественный театр не по его гастролям только, хорошо помнят, что этот театр овладевал зрителями не только со сцены и через сцену, но действовал на него всей своей обстановкой, исключительным каким-то своим духом, или, как некоторые говорят, «настроением». Уже задолго до открытия занавеса зритель оказывался во власти театра и потому отдавался действию целиком. Не действию в обычном смысле этого слова, подразумевающему сильное драматическое нарастание в самой пьесе, а, вернее, воздействию всего того, во что погружалось его напряженное зрение и напряженный слух – всем деталям постановки, вот этим длинным волнующим паузам, тихим, часто отдаленным звукам («...в шахте бадья упала». «Вишневый сад»). Без подчеркнутых завязок и драматических развязок, на сцене могла неторопливо проходить жизнь, даже медленно ползти, вот как серая ткань занавеса с чайкой, и зритель не торопил ее. Он не скучал, не искал эффектов. Чем медленнее становился темп, тем как-то ближе и полнее проникала душа к «бездействующим» лицам этой почти что остановившейся жизни. В «Вишневом саде» на копнах свежего сена сидят чеховские герои. Настроение томительное, ленивое, ничего им не хочется. Гитара тренькает... И на разные голоса лениво повторяют все одну и ту же фразу:

– Епиходов идет... Епиходов идет...

Лишь напряженный внутренний слух, который именно только Художественный театр умеет в высшей степени разбудить в зрителе, улавливает в этой томительной лени очень отдаленное, совсем незаметное приближение грозы. Впрочем, гром не грянет оглушительно, и молнии не ослепят – это было бы не почеховски, – а сильный ливень смоем без особого даже шума всех этих людей с их лениво-насиженного места.

Характерно, что аплодисментов почти не знал Художественный театр, как не знал и вызовов. То же было «не принято» – не к лицу. Зато после спектакля не поднимались торопливо и сразу с места, не шумели. Публика, подчиняясь театру, выдерживала и переживала свои паузы, когда в глубь души, как в глубь реки, опускались полученные впечатления.

И вот именно в таком театре нашел и себя, как драматурга, и своего зрителя Чехов. «Чайка», провалившаяся в Александринке, преобразилась за серым занавесом художественников, создала для них целую новую эпоху, утвердила их стиль, их школу, стала их эмблемой. И это не удивительно. «Бездейственные» томительные чеховские пьесы оказались не ко двору в обычном театре: вероятно, и актеры, и публика не знали, как к ним подойти, что в них взять. Актеры привыкли искать «выигрышных ролей», публика приучилась к «захватывающему драматизму». Старый театр ударял по нервам. У Чехова ни темперамента, ни вкуса к этому не было. Он мог только тихо, неторопливо тянуть ее нить. Художественный театр сумел захватить тоненькой чеховской ниточкой ту глубину и затаенность чеховских душ, где нет места ни «безумному отчаянию», ни «отчаянному безумству», где не слышно, но больно скребется тоска, а иногда скопляются, как капли осеннего дождя, слезы подавленной безнадежности, беспомощные, стыдливо скрываемые слезы неудачной жизни, хмурой судьбы, не знающей жалости к «хмурым людям».

«Вишневый сад» было последнее, что подарил Чехов своему любимому театру, а через него русской публике и, прежде всего, Москве, столь же любимой им, как и театр. И театр, и Москва точно чувствовали, что принимают последний подарок. Театр вложил всю душу, все силы, всю предусмотрительную тонкость в постановку. Москва волновалась, кипела, ждала спектакля как величайшего события.

В публике толковали о деталях постановки, делились слухами из десятых уст.

Москва литературная, театральная, университетская под сурдинку готовила чествование 25-летнего литературного юбилея писателя. «Общество любителей русской словесности» и другие общества по секрету обсуждали предстоящее торжество, зная при этом, что Чехов не захочет юбилея, испугается. Но как же было не чествовать, хотя бы и насильственным сюрпризом? Могла ли Москва от этого отступить? Разговоры о первом представлении «Вишневого сада» проникли даже сквозь стены закрытых средних учебных заведений. И там потихоньку шептались о Чехове, о его пьесе.

Даже старые московские извозчики, седые Ваньки на серых лошадях, которые всегда по-своему участвовали в больших событиях московской жизни, неграмотные, по слухам от седоков, уже знали, что предстоит нечто. Впрочем, премьеры Художественного театра они всегда знали и, подвозя к месту, принимая серебряную мелочь, бывало, говорили:

– Уже в Камергерском новая представленья будет... Прикажете подать? Нынче, слышь, все господа туды собираются... Так прикажете подать?

Погасли красные точки в матовых фонарях. В темноту погрузился зал. Потом пополз занавес. Москва впервые увидела «Вишневый сад». И в последний раз увидела она Чехова.

Писателя, незаметно присутствовавшего в зале, публика потребовала на сцену. Требовала горячо, настойчиво. Ему пришлось уступить и выйти. Он к этому

совсем не готовился, еще меньше готовился к юбилейному чествованию. Не торжественному во фраке, а в обыкновенном пиджаке появилась высокая худощавая фигура Антона Павловича.

Близорукими своими глазами через пенсне он, конечно, не видел хорошенько зала, который на этот раз нарушил сосредоточенную тишину Художественного театра, но слышал, как кипел этот зал от оваций. Чехова обступили представители общества и организаций, раскрылись папки с адресами, появились цветы, венки.

Смущенный, сразу утомившийся от шума Чехов должно быть через силу стоял под каскадом приветствий.

– Сядьте, Антон Павлович, сядьте, просим! – кричали из публики.

На сцене поставили ему стул. Но Чехов не сел.

«Юбилейные мучители» в конце концов поняли, что торжество дорого обходится больному писателю, и занавес скоро закрыли. Но долго еще несли венки и цветы и долго еще волновалась и не расходилась публика.

Последующие дни и недели были полны обменом впечатлений о «Вишневом саде», о юбилее Чехова. Ему, кажется, на самом деле поднесли тогда и чернильницу, юбилейную чернильницу, о которой он говорил с шутливым ужасом.

Именины, день рождения (Чехову исполнилось тогда 44 года), 25-летие литературной деятельности, первый спектакль новой пьесы – все это соединилось в один праздник 17 января 1904 года... Как стремилась тогда Москва выразить Чехову свою любовь! Ведь его именно любили. Лично любили, как редко кого из писателей.

И редко кого так сердечно жалели, как жалели Чехова, когда его не стало.